# Министерство образования и науки Украины

Металлургический техникум  
Запорожской государственной инженерной академии

Николай Гумилев

#### Жизнь и творчество

### реферат

по предмету зарубежная литература

Выполнил

ст. гр. МЭПЗ – 00 1/9 Д. Г. Корнеев

Проверил

преподаватель Н. В. Колесникова

## Запорожье 2001

План

1.Жизненный путь писателя.



а) детство, отрочество, юность;

б) делать себя.

2. Творческое наследство Гумилёва.

а) Гумилёв-драматург;

б) поэзия.

Это единственный из великих поэтов Серебряного века, казненный Советской властью по приговору суда. Остальные либо замучены бессудно (Клюев, Мандельштам), либо доведены до самоубийства (Есенин, Маяковский, Цветаева), либо умерли до срока от физических и духовных потрясений (Блок, Хлебников, Ходасевич), либо – в лучшем случае – перенесли преследования и гонения (Пастернак, Ахматова). Гумилёва постигла самая ранняя и самая жестокая кара.

Чекисты, расстреливавшие его, рассказывали, что их потрясло его самообладание:

– И чего он с контрой связался? Шел бы к нам – нам такие нужны! [1]

Говорят, фамилия Гумилёвых происходит от латинского слова humilis, что значит: смиренный. Может быть, так оно и есть. Но совершенно точно, что самый яркий представитель этой фамилии, внесший ее в историю литературы, – поэт Николай Степанович Гумилёв – жил вопреки всякому смирению. С раннего возраста он делал себя сам, и потому признавал над собою только собственный суд.

Тайна судьбы Гумилёва – в странной притягательности его характера для утверждающейся советской поэзии при полной неприемлемости его поведения для утверждающейся Советской власти.

Никому не дано сказать о Поэте больше, нежели делает это сам он в своих стихах. Ни родным, ни друзьям, ни современникам, ни исследователям. Можно создать многотомную биографию. Но Поэт всегда больше своей биографии, потому что он – целый самостоятельный мир, счастье и трагедии, гармония и разлады которого будут доходить к потомкам и спустя десятилетия, века, как доходит к нам из глубин бездонной Вселенной свет давно погибших звезд.

Судьба Николая Гумилёва заставляет вспомнить слова другого страдальца времени, замечательного писателя Александра Солженицына: «Несчастная гуманитарная интеллигенция! Не тебя ли, главную гидру, уничтожали с самого 1918 года – рубили, косили, травили, морили, выжигали? Уж, кажется, начисто! уж какими глазищами шарили, уж какими метлами поспевали! – а ты опять жива? А ты опять тронулась в свой незащищенный, бескорыстный, отчаянный рост!..»

Дед поэта со стороны отца, Яков Степанович, служил дьяконом в приходе (село Жолудево Спасского уезда Рязанской губернии), имел достаточно большую семью – шестерых детей – и, пока был жив, заботился о том, чтобы дети шли проторенным путем. Александр, старший сын, преподавал в Рязанской семинарии, дочери вышли замуж за священников.

Ничего не оставалось делать, как связать себя с духовенством, и младшему сыну, Степану: на ученье он был отдан в ту же, Рязанскую духовную семинарию, где учительствовал его брат. И место ему уже было подготовлено – отцовский приход. Но, хотя в учении он был усерден и прилежен, – в 18 лет объявил о том, что видит свое будущее иным, не духовным, а светским. Уже тогда в нем явно угадывалась одна из характерных наследственных черт Гумилёвых – упорство, сопряженное с трудолюбием. Можно только догадываться, какие страсти бурлили в это время в семье, и какими разговорами были заняты дни и вечера, но факт остается фактом: зная о несогласия семьи и о том, чем грозит ему непослушание, Степан Яковлевич делает все же по-своему и поступает в Московский университет, на медицинский факультет. Справедливо полагая, что особой помощи ждать неоткуда, молодой человек становится государственным стипендиатом (это значит – затем с обязательной, после обучения, службой в указанном месте). По свидетельству А. Гумилёвой, дополнительно заработанные репетиторством деньги он отправлял матери. Когда в 1861 году университетский курс обучения был завершен, медик Гумилёв получил назначение корабельным врачом в знаменитую морскую крепость Кронштадт.

Именно принадлежность к флоту, определенное окружение сыграло свою роль и в выборе спутницы жизни. Ставший к тому времени вдовцом (первая жена, А. М. Некрасова, умерла, оставив его с трехлетней дочкой Сашей на руках), Степан Яковлевич познакомился у адмирала Л. И. Львова с молодой обаятельной Анной Ивановной, сестрой адмирала, на которой и женился в 1876 году.

Львовы – представители одной из старых дворянских фамилий, род свой ведущие от князя Милюка, оставившего в наследство потомкам имение Слепнево, в котором почти всю жизнь до замужества и провела Анна Ивановна.

Вот в этой семье, через полтора года после рождения первого сына, Дмитрия, и родился второй – Николай. Это произошло 3(15) апреля 1886 года в Кронштадте, где Степан Яковлевич дослуживал последний год корабельным врачом перед выходом в отставку. Николай родился бурной штормовой ночью, и, по семейному преданию, старая нянька предсказала, что у него «будет бурная жизнь». Конечно же, как это чаще всего бывает, слова эти наполнили более глубоким, известным нам теперь смыслом лишь потом, спустя десятилетия, задним числом. Но все же они прозвучали, и волны времени стали неумолимо приближать нового, только появившегося на свет человека к тем бурям и потрясениям, которые очень сильно изменят жизнь всего этого поколения: к 1905-му, и 1914-му, и 1917-му... Детство и отрочество этого поколения останутся в иной эпохе, « другом миропорядке.

К моменту, когда 9 февраля 1887 года был подписан высочайший приказ о выходе С. Я. Гумилёва в отставку с мундиром и пенсионом, – по соседству с летней императорской резиденцией, в Царском Селе, уже был облюбован тихий дом на Московской улице, в который и перебралась семья, озабоченная теперь прежде всего здоровьем и воспитанием детей.

Особым пристрастием к наукам младший Гумилёв не отличался ни в детстве, ни в юности. Но в пять лет уже умел читать и не без удовольствия сочинял, выискивая из обилия слов именно рифмующиеся. Получив первоначальное минимальное образование на дому, Николай успешно сдал экзамен в приготовительный класс Царскосельской гимназии, однако вскоре заболел и вынужден был прервать занятия. Их заменила домашняя подготовка, в которой юного ученика особенно привлекала география и все, что было связано с этим предметом.

Увы, и гимназия Гуревича в Петербурге тоже не вызвала у него восторга, ­­­­­­– с гораздо большим интересом и даже упоением он предавался играм в индейцев, чтению Фенимора Купера, изучению повадок окружающей живности и, конечно же, сочинительству, в котором главное место отводилось экзотике. И это понятно: когда человеку 14 лет, его увлекают приключения, путешествия (пусть и описанные другими), фантазии, мечты о необычном, о великой будущности.

Дополнительным толчком, импульсом для выражения своих эмоций и внутренних переживаний в стихах стал переезд семьи в Тифлис, куда решено было перебраться из-за открывшегося в 1900 году у Дмитрия туберкулеза. Время, проведенное на Кавказе, – более двух лет – было очень насыщенным и многое дало юному Гумилёву: не только новых друзей, обретенных в лучшей в городе 1-й Тифлисской гимназии, но и определенную самостоятельность, независимость, к которой он так стремился (когда семья на лето уехала в недавно приобретенное в Рязанской губернии имение Березки, Николай остался в Тифлисе один); и окрыление первой влюбленностью; и самоутверждение – именно в этот период, 8 сентября 1902 года, в газете «Тифлисский листок» было опубликовано его стихотворение «Я в лес бежал из городов...»

В 1903 году он вернулся в Царское Село уже автором целого альбома – пусть откровенно подражательных, но искренних – романтических стихотворений, которые сам достаточно высоко ценил и даже посвящал и дарил знакомым девушкам.

Именно здесь, в Царском Селе, впервые за долгие гимназические годы учебное заведение стало хоть сколь либо привлекать Гумилёва. Вернее, не сама по себе гимназия – учился он по-прежнему плохо и с неохотой, к тому ж по приезде из Тифлиса, за неимением вакансий, в седьмой класс был определен интерном (вольнослушателем)... Нет, конечно, не сама гимназия, а ее директор, поэт Иннокентий Федорович Анненский, с которым не сразу, но все же завяжутся беседы; которому будет подарен затем первый настоящий, типографским способом напечатанный сборник стихов; тот самый Анненский, памяти которого будут посвящены замечательные строки поистине благодарного ученика:

Я помню дни: я, робкий, торопливый,

Ходил в высокий кабинет,

Где ждал меня спокойный и учтивый,

Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,

Как бы случайно уроня,

Он вбрасывал в пространство безымянных

Мечтаний – слабого меня...

Детство стремительно заканчивалось, а точнее, уже почти и закончилось к тому времени, застав гимназиста Гумилёва в довольно неопределенном состоянии; с одной стороны – ученик седьмого класса, усердно разрисовывающий стены своей комнаты под подводный мир, но, с другой стороны, – идет, ни много ни мало, восемнадцатый год жизни. А это что-нибудь да значит. Впрочем, сам он особой неопределенности не ощущал, ибо занят был главным – *делал себя*.

Почти все, кто станет потом, спустя годы, писать о Гумилёве-поэте, Гумилёве-путешественнике, Гумилёве-воине и Гумилёве-организаторе, будут отмечать такие черты характера, как твердость, надменность, очень уважительное отношение к себе; будут отмечать, что его многие любили. И уж никто не забудет описать его нескладную фигуру, в которой если что и привлекало, так это – руки с длинными музыкальными пальцами; его далекое от представлений о красоте лицо – толстые губы, косящие глаза, один из которых смотрел вбок, а другой – поверх собеседника; слишком удлиненный, как бы сжатый с боков, череп. Однако почти точно так же никто не задаст себе вопроса: как же взросла при всем этом столь сильная, яркая личность? Ведь в юности при подобной внешности недолго впасть в комплекс неполноценности, в угнетенность, озлобленность.

Секрета нет: он *делал себя*, – и это достойно уважения, как любое значительное, многотрудное дело, которое, впрочем, состоит зачастую из бытовых мелочей, и только в итоге, в завершенности, представляется именно значительным.

Довольно болезненный в детстве, он вопреки физической слабости всегда старался верховодить, всегда претендовал на роль вождя – и был им. С детства застенчивый, всячески преодолевал и этот недостаток. Быть может, и стихи стал сочинять не в последнюю очередь из жажды славы: никто вокруг, не умел, а его фамилия уже в газете напечатана была – значит, и в этом он выше других.

И не случайно уже тогда, в пору детских игр в индейцев, когда роль вождя принадлежала только Николаю, на предупреждение «рядового индейца», старшего брата, что не все будут вот так безропотно подчиняться, прозвучало: «А я упорный, я заставлю».

А самовоспитание гордости и вовсе не знало ни границ, ни мелочей: это была памятливая гордость. В этой связи жена Дмитрия Гумилёва вспоминала потом («Новый журнал», 1956, № 46):

«Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила переделать его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: «На, возьми мои обноски?» Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто, и никакие уговоры матери не смогли заставить Колю его носить.

Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать. Прошло много лет. Мужу не понравился галстук, который я ему подарила, и он посоветовал мне предложить его Коле, который любит такой цвет. Я пошла к нему и чистосердечно рассказала, что галстук куплен был для мужа, но раз цвет ему не нравится, не хочет ли Коля его взять? Но Коля очень любезно, с улыбочкой мне ответил: Спасибо, Аня, но я не люблю носить обноски брата».

Здесь не обида, а вот именно – гордость. И подобных примеров было достаточно много для того, чтобы понять не случайность такой реакции, такой манеры поведения, такой подчеркиваемой памятливости. Как и всегда подчеркиваемого внешнего спокойствия, ибо считал недостойным мельтешить, выказывать волнение. Да, сомневался в своих познаниях, идя на экзамен, но экзаменаторам не дано было видеть тех сомнений. Да, переживал перед дуэлью – но кто знал о том? Да, с огромным трудом заставлял себя выйти на сцену и выступить перед аудиторией – той самой, которая поражалась его хладнокровию и уверенности в себе.

Все это надо было делать. И поэтому маска надменного конквистадора, явленная молодым поэтом в первой своей книге, – не мгновенное озарение, не случайный образ, не дань юношеским мечтаниям; она – своего рода символ. Конечно, и щит, и завеса, и панцирь. Но в первую очередь все же – символ, по которому безошибочно узнавался автор. [2]

Драматическое наследие Гумилёва не велико. Он написал шесть «пьес». Три из них – «Дон Жуан в Египте», «Актеон» и «Игра» – одноактные. «Игра» да же не акт, а «драматическая сцена». Все три – скорее драматические эскизы, чем пьесы. «Гондла» – по обозначению самого Гумилёва – «драматическая поэма». «Дитя Аллаха» – лирическая сказка без драматического напряжения, предназначавшаяся для кукольного театра. Остается «Отравленная туника». Это, без сомнения, настоящее драматическое произведение, трагедия, которая открывает совершенно новые стороны творческих возможностей Гумилёва и указывает на неожиданные аспекты его развития. М. А. Кузмин, хорошо знавший Гумилёва, писал о нем, что он не любил и не понимал, театра, но сам Кузмин вряд ли знал «Отравленную тунику» эта полная драматической динамики классицистическая трагедия наверно заставила бы его переменить мнение.

Несмотря на «не-театральность» пяти пьес и на существенную разницу между ними в формальном отношении, во всех шести, в том или ином виде выступает одна и та же проблема: вопрос о высочайших возможностях человека и о его пределах. Гумилёв находит эти высочайшие возможности в служении искусству и в проявлении героической силы; творческое создание красоты человеком и воплощение красивой силы в человеке – это два пути к высотам человеческого назначения. По-видимому, оба они должны привести к мудрости, как последней цели стремлений человека; мудрец познал и красоту и силу, они достигли равновесия в нем самом, и он любуется их проявлением вне себя. Творение красоты в сочетании с силой исключает зло. Поэтому познавший красоту и силу мудрец добр и излучает добро. Мудрость – идеал, который достигается крайне редко: Гафиз в «Дитя Аллаха» – мудрец, – но это сказка! Тем не менее, путь к мудрости возвышает человека над самим собой и придает его жизни ценность, даже если он на этом пути гибнет, не победив зла, которое не знает ни красоты, ни истинного героизма.

Дон Жуан силен, его любовь ненасытна, но где-то он в ней артист, она связана с поэзией, она красива. Актеон – сильный и храбрый охотник, в нем есть стремление к красоте, но его односторонность губит его. Граф в «Игре» – герой, живущий в мире красивой мечты. Гафиз – поэт, герой и мудрец; книга жизни ясна для него: вокруг него воплощения односторонних возможностей, но только он «лучший» и достоин божественной Пери. Гондла – вдохновенный артист, но сила то только жертвенная, в ней нет стремления к активной борьбе, и его смерть лишь на миг открывает путь к вершинам. В «Отравленной тунике» Имр соединяет в себе красоту поэзии и героическую силу, но его страстность нарушает их равновесие. Царь Трапезондский сильный, честный воин, способный к глубокому чувству, но в нем нет искры божественной красоты: он односторонен. Еще более односторонен Юстиниан: сильный, властный правитель, он не знает красоты; его страсть к зодчеству коренится в жажде власти, и он далек от добра.

За исключением Феодоры, женщины Гумилёва вполне зависимы от мужчин. Они возбуждают в последних стремление к красоте или к проявлению героизма, но ни мисс Покэр, ни Каролина и Берта, ни да же Зоя не имеют собственного веса. Пери – неземное существо и как бы катализатор в мире мужчин. Лера в «Гондле» двоится: в ней есть задатки независимости Феодоры, но «ночная Лаик» в конце концов берет верх над «дневной Лерой». [3]

Многие из нынешних читателей не могут даже вообразить, какой фурор вызвала крошечная, на одну страничку, подборка стихов Гумилёва, опубликованная в апрельском выпуске журнала «Огонек» за 1986 год. Это был не просто рядовой номер журнала, а ленинский, посвященный 116-летию со дня рождения Ильича, с этим самым Ильичом на обложке, который к тому же разговаривал по телефону:

Неожиданный и смелый

Женский голос в телефоне...

Сколько сладостных гармоний

В этом голосе без тела!

Все гадали, что это – предвестие важных перемен или промах цензоров смутного времени. Никто не заводил серьезного разговора о стихах. Оценки, в зависимости от политических взглядов критика, варьировались от восхищенного «поэт-мученик» до снисходительного – «крайняя аполитичность и эстетический герметизм».

Между тем Гумилёв – один из самых недооцененных поэтов Серебряного века. Разные ярлыки – «муж Ахматовой», «расстрелян большевиками», «кавалер Георгиевского креста» – постоянно заслоняли его поэтическую сущность. А она, как писал сам поэт, «надменна и проста»: он – подросток. Причем очень деятельный подросток, изображающий себя таким, каким он хочет казаться себе и окружающим. Благородным, бесстрашным, опытным, умудренным, роковым, многое повидавшим, изысканным, тонким. Идеальный образец для подражания в определенном возрасте. Ничего удивительного, что Гумилёв всегда был популярен среди юношей и барышень. Это можно только приветствовать. Как юношеский поэт Гумилёв не в пример лучше Асадова или Гребенщикова.

Вот и неудивительно, что Набоков, который в юности отыскал чрезвычайно трогательные слова для лапидарной эпитафии Гумилёву, в старости жаловался: «Как любил я стихи Гумилёва! Перечитывать их не могу»...

Действительно, сложно представить себе пожилого, обрюзгшего Набокова, который читает стихи про Люциферов, голубые гробницы, леопардов, розоватые брабантские манжеты, бледного и красивого рыцаря, владыку пустыни Фингала, мастодонтов, ненюфаров, ашкеров и Елефантину. Гумилёв использует множество экзотических слов явно с единственной целью – показать, что он их знает. Это особенно заметно в рифмах:

И ты вступила в крепость Агры,

Светла, как древняя Лилит,

Твои веселые онагры

Звенели золотом копыт.

Еще одна вполне подростковая особенность – неумение убедительно закончить стихотворение. Особенно часто произведения кончаются на полуфразе в его раннем творчестве. В первом сборнике «Романтические цветы» стихи, которые свободны от этого недостатка, автоматически стали хрестоматийными – это «Выбор» («Созидающий башню сорвется») и «Жираф». Но вопросительная интонация в конце сохранилась у Гумилёва до последних дней.

В общем, Гумилёва очень трудно воспринимать всерьез. Первые две его книги – «Романтические цветы» и «Жемчуга» – это свидетельства поверхностного освоения подростком мировой культуры. «Чужое небо» – женоненавистнические стихи, продиктованные сложными отношениями с Ахматовой. «Шатер» – зарифмованный путевой дневник. Спору нет, в русской поэзии мало столь здоровых личностей. Но пускать подростка в пантеон Серебряного века?

Да только Гумилёв не просто обаятельный, смелый и благородный человек. Он гениален. Беда лишь в том, что гениальность прячется у него в огромной груде балласта – у него не было чутья и вкуса, чтобы оставить лишь те жемчужины, которые бесспорно и несомненно сохранятся в веках, покуда будет существовать русский язык.

Иногда эти крупицы гениальности – тоже детские:

Где вы, красивые девушки <...>

Или вы съедены тиграми,

Или вас держат любовники?

Многие его стихи состоят из двух-трех строк, а все остальное – досадный довесок.

Ни шороха полночных далей,

Ни песен, что певала мать...

После этих строчек стихотворение идет под откос. Та же ситуация – с этой вот строфой из вступительного стихотворения сборника «Шатер»:

Оглушенная ревом и топотом,

Облеченная в пламя и дымы,

О тебе, моя Африка, шепотом

В небесах говорят серафимы.

А есть у него прорывы в поэтику мастеров, которые станут писать так только спустя много лет. Вот, например, из чего выросла «Ночь» Пастернака:

Мы ничего не знаем,

Ни как, ни почему,

Весь мир необитаем,

Неясен он уму.

А это – тоже с интонацией незавершенности – Мандельштам:

Но идешь ты к раю

По моей мольбе.

Это так, я знаю,

Я клянусь тебе.

Или вот прообраз «Песенки» Бродского («Носи перстенек, пока / виден издалека - / потом другой подберется. / А надоест хранить - / будет что уронить / ночью на дно колодца»):

Уронила девушка перстень

В колодец, в колодец ночной,

Простирает легкие персты

К холодной воде ключевой...

Я не знаю, правы ли те, кто считает Гумилёва времен «Огненного столпа» другим, несравненно лучшим поэтом, чем был Гумилёв «Романтических цветов». Да, в «Столпе» есть неожиданно-визионерский «Заблудившийся трамвай», есть афористичное «Слово», есть акварельный «Слоненок» (от которого тоже остается впечатление незаконченности) и есть пронзительный «Звездный ужас», который – вместе с другими африканскими стилизациями – восстановил пропавшую было традицию пушкинских «Песен западных славян». Но там же есть и лубочная «Ольга», и трогательный в своем подростковом самолюбовании манифест «Мои читатели». Может быть, Гумилёв дорос бы до масштабов своего дара. Мы этого никогда не узнаем (о чем там разговаривал Ленин по телефону в августе 1921 года?). Но я уверен в одном: жалкое прозябание ему не грозило. Ни в совдеповской России, ни в стуже эмиграции. Потому что –

Высока была его палатка,

Мулы были резвы и сильны,

Как вино, впивал он запах сладкий

Белому неведомой страны.

На этой повисшей в воздухе Гумилёвской ноте и прервем рассказ. [4]



Источники

[1] «Николай Гумилёв», Лев Аннинский, http://www.user.cityline.ru/~stgeorge/

[2] Гумилёв Н., Избранное, лит.-биогр. хроника И. А. Панкеева; Москва «Просвещение» 1991

[3] «Гумилёв-драматург», В. Сечкарев, http://aha.gumilev.ru

[4] «Николай Гумилёв. От «Романтических цветов» до «Огненного столпа», Виктор Сонькин, «Русский журнал» http://www.russ.ru